**Феноменология Генриха Горенштейна**

А.З. Лебедев, 644084, Омск, ул. Ермолаева, 5-51

Когда герой романа Г. Горенштейна "Место" подводит итоги своей личной истории, он приходит к парадоксальному заключению: " Не виновен, но заслуживает наказания" [1]. Традиционная логическая формула не отменяется, а отодвигается в сторону иной эмпирической реальности. В реальности же истории героя следствие остается без причины, не ищет ее. Акт вопрошания о причинах порождает телеологическую установку и запрашивает такую конструкцию, которая дала бы помыслить причину, то есть "упорядочить на бумаге свои впечатления и самому в них разобраться". К тому же личная история героя для него такой интенциональный объект, который ставит под сомнение саму целесообразность внешних коммуникаций Сомнение разрешается замыслом конструкции, которая отрицала бы адресат коммуникации так, чтобы он видел это: "...почему бы вам не увидеть себя глазами человека, вас искренне ненавидящего?"

В дискурсе поэтики Горенштейн обозначает свой текст как "политический роман". Это провоцирует читателя на то, чтобы мыслить тематически. Тем более, что о политике много говорят персонажи, в том числе и главный герой. Но невозможно мыслить на тему, а созданная Горенштейном конструкция побуждает именно мыслить. Так что в философском дискурсе этот текст есть политическая акция разрушения тех мифов, что были созданы во второй половине ХХ века и все еще мерцают в сознании наших соотечественников.

Автор данной статьи исходит из парадигмы, что "... философский анализ (...) начинает с того (и этим, по сути дела, и заканчивается), что не позволяет распасться поэтической реальности на ей неимманентные единицы исторического смысла. Тогда ход анализа должен идти так, чтобы обнаруживать в поэтическом произведении имманентную ему коммуникативную форму, чьи структурно-функциональные особенности определяли бы одновременно и сферу существования поэтического в миге чтения и те базисные категории (...) опыта (...), без которых подобная форма не могла бы существовать даже этот миг" [2].

1

Конструкция Горенштейна держится на двух временных осях. Линейная ось хронологической последовательности изображает термодинамическое время. Это своего рода уступка читательской психологии, которая нуждается в последовательности. Однако читатель видит, что нарративный слой текста всегда удерживает его во времени "сейчас". Читательская ось извлекает читателя из последовательности, но так, чтобы он не уходил из нее телесно. То есть сознание читателя по крайней мере четырежды совершает условно завершенный акт, двигаясь в топологически очерченных полях: "Койко-место", "Место в обществе", "Место среди жаждущих", "Место среди служащих".

Линейная и циклическая оси сращиваются по принципу листа Мебиуса, превращая линейное дление в круговую бесконечность в "Месте среди живущих". Акт понимания входит в цикл возвращения к началу. При этом конструкция сохраняет свойства именно листа Мебиуса, то есть является односторонней поверхностью (личная история героя) и "при разрезании по средней линии не распадается, а превращается в дважды перекрученное цилиндрическое кольцо" (личная история героя - и личная история героя, промысленная как личная история героя). Входя в конструкцию по оси линейной последовательности, читатель не подозревает об её устройстве. И если попадает в циклическую ось (то есть если его сознание включается в работу по законам конструкции, а ведь может и не включиться - этот случай автором предусмотрен: "Говорить с глупцом все равно, что говорить с дремлющим. Когда окончишь последнее слово, он спросит: "Что ты сказал?"), то только пробежав весь большой цикл, находит ответ на вопрос "Кто говорит?". И тогда дальнейший путь определяется уже исключительно зрением читателя.

Если мыслить в радикальном дискурсе, то это должно быть уже другое зрение, трансформированное в процессе чтения. Тогда личная история героя действительно становится для читателя интенциональным объектом, и он способен из неё извлечь опыт. Иначе она останется для него знаком чего угодно: нравственных коллизий, исторической хроники, даже детективного приключения.

Философская проблема в том и состоит, чтобы воспрепятствовать распаду "поэтической реальности на ей неимманентные единицы исторического смысла". Грубо говоря, всё сводится к тому, чтобы сказать: "Смотри сюда!"

2

Обнаружив "кто говорит", читатель находит важнейшее экзистенциальное свойство конструкции: автор не дистанцируется от героя. Но конструкция не биографична. Цвибышев - это политический псевдоним автора, по замыслу которого вся конструкция - политическая акция. В финале текста возникает проблема нарративных инстанций, но она снимается всем предшествующим этому моменту текстом. Рассказа в рассказе нет. Есть пространство понимания, лежащее целиком в рефлексивном слое. Это пространство может быть описано как интервал между действующим и понимающим Я - и пишущим и понимающим Я. В поэтике можно видеть здесь роман воспитания, поскольку обнаружимы топосы вросления. Топосы, возникающие как извлечение собственного опыта, поскольку идеальный образ взрослости либо размыт, либо текуч, либо дискредитирован в глазах героя.

В ткани текста авторская рефлексия генерирует своеобразные сгущения, которые в нарративном слое оформляются как феномены, из которых сущность сама себя показывает. В континууме личной истории героя феномены выступают событиями, фундирующими развёртывание этой истории как инварианта. Однако, как известно, человек беспричинен, то есть для человеческого в человеке нет причин. Вот для утраты в человеке человеческого причины есть. Герой же не просто влеком потоком событий, он в этом потоке двигается, поскольку имеет перед собой пустоты для вмещения в мир смыслов. Он извлекает опыт - значит, есть структуры личности. Есть возможность и необходимость говорить о нём в категориях личности.

Герой приходит в готовый мир, и пространство его судьбы неизмеримо обширней пространства его личной истории. Судьба угрожает ему многими утратами человеческого, в том числе и судьба, реализующаяся в событиях личной истории героя. Но в том-то и дело, что герой, вмещаясь в мир смыслов, двигаясь в континууме своей личной истории, выращивая в себе структуры личности, преодолевает эти угрозы или уходит от них. Это легко ухватить, если видеть, что автор не дистанцируется от героя.

События жизни героя в социуме состоялись, герой извлек из них опыт, побуждающий уклониться от деятельного участия в ситуациях общей жизни, как бы выпасть в этом смысле из социума. В контексте организмических представлений героя дальнейшие энергетические траты для него означали бы интенсивное движение к смерти. Социум потребляет его энергию и не признает его жизнь ценностью столь последовательно, что рано или поздно должен был включиться механизм самосбережения. Самозащита укоренена в психике героя с раннего детства - самосбережение же актуально в структурах личности и в ситуации относительной защищенности. Самосбережение реализуется как зависание в замысле.

Горенштейн показывает, как в реализации замысла героя ведет трехтактный шаг. Во-первых, очутившись в городе своей юности, он осознает, что ситуацию самосбережения он имеет, как ту шубу, что на нём надета. Стать в ситуацию самосбережения оказывается нельзя. Он вновь "бездомный", "инкогнито": "в единое целое оба оставшиеся конца" моментально слились именно потому, что не произошло никаких бытийных сдвигов. Во-вторых, "на второстепенной улице", встретившись с "бытовым" носителем общего состояния, имеющим "за плечами прочную сталинскую молодость", "сознательно направленным в прошлое, а бессознательно в будущее", герой сознает, что его зависание покоится в другом - общем зависании. Наконец, анекдот о парализованном партийце уже окончательно выводит героя на онтологический уровень: чтобы стать, надо родить СЛОВО. Иначе неизбежно движение под бичом чужих небескорыстно выдуманных слов. Поскольку в наличном мире называние - это произвол, жизнь можно возродить только истинным контрсловом, иначе тебя успеют назвать - и ты замолкнешь. Извлечь опыт общей жизни надо, чтобы двинуться из ирреальности.

Таким образом, заговорил, потому что стало страшно и нет иной возможности двигаться, как только высвободив жизнь из-под лукавых слов своим словом, которое есть извлечение опыта, или возвращение украденной жизни, или преодоление отщепенства, или становление в человеческом.

Уместно напомнить хрестоматийное стихотворение А.С. Пушкина "Пророк", где условно-поэтически дана схема рождения поэта - циклическая схема. Ровно так же работает циклическая ось в тексте Горенштейна. Но условно-поэтическое мышление здесь уступает место мышлению феноменологическому.

3

Неэкзотический натурализм некоторых фрагментов в тексте Горенштейна производит эффект снижения человеческого статуса героя, провоцирует на то, чтобы принять его за аксиологический знак. Однако, если мы сумеем удержаться в создаваемой автором конструкции, то удержим и интенциональный объект в своем сознании. По Горенштейну, организмическое единство индивидуума находится в норме тогда, когда жизнь плоти не требует усилий духа и не эксплуатирует, а питает энергию психики, обслуживающей духовную работу.

"Когда меня угощают вкусным обедом, особенно на голодный желудок, в душе появляется чувство глубокого умиления и жгучего желания сделать для этих людей что-либо по-настоящему хорошее, желание благодарности, которая превзошла бы все ожидания. (...) Сила этой физиологической благодарности организма (назовем её так) иногда доходила до того, что в высший момент наслаждения, когда голод ещё боролся с сытостью и не наступало чувство удовлетворения, я ловил себя на желании поцеловать руку, дающую еду, желании диком, собачьем каком-то желании, причем бесправных дворовых собак".

Если "феномен - это проявление в схватываемом выражении внутреннего действия, которое может поддерживать себя, лишь устремляясь к такому выражению" [3], то данный фрагмент я считаю возможным назвать феноменологической новеллой, чтобы устранить ту границу, которая запрещает нам изменять принципу феноменологической редукции, поскольку мы все же не можем не видеть разницы между философией и искусством. Иначе говоря, "жизнь человеческого сознания, представленная в виде событий, есть не последовательность событий, а система событий" [4]. Описание события времени письма, представляющего собой фрагмент системы событий, я и называю феноменологической новеллой, когда в "схватываемом выражении" проявляется внутреннее действие, "которое может поддерживать себя, лишь устремляясь к такому выражению".

В приведенном фрагменте (феноменологической новелле) в целостности индивидуума (у Горенштейна = организм) духовное "благодарность" слилось с плотским "физиологическая" ("физиологическая благодарность"). Психологическое "наслаждение" разместилось между двумя фазами плотского: "голод" и "сытость".

То есть норма нарушена в сторону регрессии от человеческого к животному. Собачья духовность? Для человеческого в человеке нет причин - для утраты человеческого в человеке, как видим, причины есть. Если мы пройдем мимо этого, то ничего не только у Горенштейна, но и в жизни не поймем. А уж у Горенштейна нас наверняка будут раздражать навязчивые описания того, где и что герой ел. Что касается личной истории героя, то данный момент его рефлексии есть момент амплификации души. Такие моменты описывают область граничных состояний, оппозиционных регрессиям, в которых он пребывал. Именно к этим граничным состояниям устремлен герой своей человеческой сущностью. Иначе можно сказать, что так реально складывается нравственность человека: не из предписаний, а из впечатлений, реализованных как извлечение опыта.

"Существует голод вместе с народом. Я знаю его, ибо испытал. (...) Но есть и голод без народа, то есть голод отщепенца, оказывающегося в таком положении по тем или другим причинам (...) Голод с народом свят, воспетый поэтами, и уважаем. Голод отщепенца подозрителен и носит характер вызова обществу".

Но опыт уже извлечен, полученные смыслы мы имеем право имплицитно разместить в цитируемой феноменологической новелле Получится, конечно, гротеск - шокирующий гротеск, что не отменяет истины. Собачья духовность стаи оказывается в оппозиции к собачьей духовности в стае как прогресс к регрессу Не это ли ставит крест на всей нашей соборности? Запрещает ли авторская конструкция нам эту импликацию? Вовсе нет, поскольку линейная ось трансформируется в ось циклическую именно в моменты амплификации души и в моменты, которые я сейчас назову моментами эпической амплификации героя. Это и есть места кристаллизации структур личности героя, это есть и места описания граничных состояний. Для того, что они чаще всего обнаруживаются в негативе, есть причина - жизнь, о которой говорит автор, движение из ирреального в реальное человеческое.

4

Всё-таки, скажет иной читатель, герой в какой-то степени эгоист, приспособленец и т. п. Да нет, так не бывает. Принцип подобия, как совершенно справедливо утверждает М. К. Мамардашвили, в жизни человека и социальных явлениях не действует. Другое дело, что у нас нет слов, которыми мы героя категориально описали бы. Как сказал бы Хайдеггер, мы этого не мыслим. И вот Горенштейн дает нам помыслить. Потому я и называю его титаном. Ведь титаны - богоборцы. А наши боги - чаще всего идолы.Вера же в идолов рождает полых людей. Или эпических людей - эпического человека.

"Потомственный питерец, ленинградец из рабочей семьи того самого толка, который всегда служил опорой советской власти. Когда началась война с гитлеровской Германией, Висовину было семнадцать лет, но несмотря на это, не только отец - ветеран революции и гражданской войны, но даже мать, сестра и невеста (при революционных традициях в таких семьях одновременно сохранен бывает патриархальный уклад. О том свидетельствует в некоторой степени церковное имя Христофор, данное по деду, а также ранний выбор невесты, чуть ли не сызмальства, причем по договору и желательно из такой же породистой рабочей семьи; впрочем, хоть и по договору, но Висовину невеста нравилась, и он ее любил), итак, не только отец, но и мать, и сестра, и невеста, все, кстати, работавшие на одном заводе, одобрили желание Висовина пойти на фронт добровольцем".

Это начало новеллы о Висовине. Позднее заработают транстекстуальные связи, контексты. Здесь же когитальный акт обнаруживается в отчетливых перепадах стиля. В отточенные клише пропагандистской публицистики вторгается словечко "толка" (поставим на его мест "закалка" или "пошиба" - и моментально начнутся радикальные смысловые сдвиги), точно определяющее публицистический слой текста, как принадлежащий риторическому пространству, где мысли уже готовые ("мысли по радио", как сказал бы Андрей Платонов). Теми же клише лепится мифологический образ Висовина - и вновь риторическое пространство разрывается авторским сомнением: "патриархальный уклад", "церковное имя", "выбор невесты по договору" - за всем этим движение в готовых формах жизни. Нет здесь ничего личного, поэтому и мать, и отец, и сестра, и невеста не могут лично противиться. Кажется, публицистические штампы и авторская интерпретация тематически совпадают, но тема - принадлежность риторики, нельзя мыслить на тему. Авторская рефлексия находится в своем пространстве, а риторика - в своем. И это разрывает текст. В разрыве же состоялся когитальный акт. В нем все дело, а не в клишированном описании, которое может ничего не значить, потому что это готовые, чужие мысли, за ними может стоять и истина, и ложь - внешне это не обнаруживается. Истина там, где есть акт сознания. Здесь он в стилевом разрыве текста. И когда мы этот разрыв понимаем, мы понимаем все, что говорит автор.

Висовины - эпические люди, иначе говоря, полые люди, которые не живут на собственных основаниях. У них нет своей нравственности, то есть собственной области граничных состояний. Они держатся исключительно на усвоенных нормах, правилах, традициях, риторике - потому они и полые, что это каркас, который не образует структур личности. Для структур личности нужно извлечение смыслов из собственного опыта, вмещение в мир смыслов. Это случится с Христофором Висовиным на войне, когда он окажется собран во всей полноте своего состояния, и этого не случится с его отцом.

После реабилитации Висовин приезжает к отцу. "Отец его хоть и был к тому времени почетным членом передовой монтажно-сборочной бригады и членом совета ветеранов труда, но настолько уж стар и болен, что не мог даже являться на пионерские торжественные линейки, куда особенно любил ходить и ронять слезу, когда детские ручонки повязывали ему на шею пионерский галстук".

Каскад подобий: подобен члену бригады, подобен члену совета, подобен героическому деду перед подобными любящими внуками, сам подобен пионеру.

И живущий этими фикциями старик встречает сына, как только и может встретить эпический человек, усвоивший нормы, но прошедший мимо своей собственной жизни. Для старика человек есть функция от дела, от народа, от власти, от класса, от веры - а коли так, у человека нет своей истории. Личная история сына старика не только не интересует, для него её просто нет. Он фигура абсолютно эпическая, именно поэтому он может что-то решать от имени умершей жены и не признавать сушествующим живого сына.

У таких людей, как старик Висовин, личной истории нет. Всё, что касается их лично, просто выпадает из их судьбы. Но дело в том, что они сами выпадают из истории, становясь функцией от безличных процессов.

Личная история Висовина промыслена героем, а значит, и здесь мы обнаруживаем момент эпической амплификации героя.

5

Герой движется в мире, где всё уже есть. Он свободен в совершаемых им актах, держится в них своим усилием, но вариантов он не выбирает. То, что с ним случается, действительно случается. Нет предзнания того, что случится. Но то, что случится, уже есть. Феноменологическая новелла о вагонном попутчике это ухватывает, как ухватывает и нечто существенное в личной жизни героя.

В новелле как бы дан обряд инициации героя в мужском сообществе. Если мыслить в архетипическом дискурсе, то здесь мы имеем дело с архетипом дикаря. От вагонного попутчика героя отделяет культурный слой, который не предопределен природой. Природа предопределила другое - то непроизвольное состояние, которого не миновал герой под впечатлением от слов попутчика. Рассказывая, что его друг, рожденный от насилия, стал генералом, попутчик извлекает опыт, непреложный для него в своей реальности: генерал выводится непосредственно из тела. Личная история пути опускается как несущественная. Но для полого человека её действительно не существует. Полый эпический человек наполнен нормами уголовного кодекса, мифами, фантазмами, которые никаких структур личности не создают. Так вот архетип дикаря, выводящего свои идеи непосредственно из природы, герой из себя вытесняет. Языческое сознание схватывает индивидуальность. Индивидуальность же маркируется знаково: рост, пол, возраст, национальность, имя. За всем этим дикарь-язычник более ничего не предполагает. Феноменологическая новелла о Гаврюшине показывает именно эту сущность языческого сознания: схватывать индивидуальность и не видеть личности. Судьбу Гаврюшина решила не его деятельность, не его репутация, даже не его характер, а простой акт переименования из Алексея Ильича Гаврюшина в Абрама Ильича Лейбовича. Так вот архетип черносотенца герой из себя тоже вытесняет. Как свою модель поведения герой принимает и реализует иной архетип: "Рыцарь не воплощает ни племенное, ни государственное начало. Как известно, он принадлежит к космополитическому воображаемому сообществу, придерживающемуся рыцарского кодекса чести, который включает наряду со смелостью вежество, соблюдение сложных правил (...) Личностное начало куртуазного героя проявляется в его чувствах, в частности в его сугубо индивидуальной любовной страсти к незаменимому обёекту" [5]. Но это архетипическое начало создает для героя проблему идентификации в наличном социуме. Поэтому вопль "ненавижу Россию" есть не суммация смыслов, а психологическая реакция человека, подвешенного в жизни. Эта не новая для русской литературы ситуация "лишнего человека" невольно поворачивает вектор ответственности в сторону социума. Однако герой говорит: "Не виновен, но заслуживает наказания". Искупление - в реализации личной ответственности. В качестве эпического человека герой маркируется мифологемами: "сын врага народа", "протеже влиятельных покровителей", "сын несправедливо репрессированного", "борец против сталинизма", "предатель товарищей по борьбе", "приживальщик в состоятельной семье", "боец невидимого фронта", "стукач" - но изнутри все эти мифологемы разрушены личной историей героя, его вмещением в мир смыслов - в мир, который он застал уже готовым. Беда в том, что эти мифологемы эксплуатируются и по сей день, образуя каркас полых людей, влекомых в дурную бесконечность выпадания из истории.

Роман Г. Горенштейна из 1970-х годов, когда был написан, обращен к концу ХХ века требованием демифологизации того, что ещё не застыло. Собственно, вся конструкция, созданная Горенштейном, это интенциональный объект (или феномен), из которого сущность показывает себя сама.

**Список литературы**

Цит. по: Горенштей Г. Избранное: В 3 т. М., 1991. Т.1.

Подорога В.А. К вопросу о мерцании мира // Логос. 1993. N 4. С. 142.

Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995. С. 343.

Руднев В. Феноменология события // Логос. 1993. N 4. С.233.

Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М., 1994. С. 33.